

А.А. Пинский

Воспоминания о Щедровицком

(Опубликовано в сборнике "Пайдея", М., 1996)

- Толя, скажите, что самое главное в жизни?
- Ну, много разных вещей важны, Георгий Петрович.
Что-то одно трудно назвать.
- Да ладно вам, это очень просто. Самое главное -
это попасть в хорошую компанию.
Из частной беседы

Интродукция

В ноябре 1978 года я поступил в аспирантуру НИИ содержания и методов обучения Академии педнаук. Я выбрал тему с философским аспектом, связанную с проблемой границ применимости физических теорий. Мне хотелось чего-то такого... по большому счету... Я стал много читать, по методологии науки. Конечно, мой отец мне мог бы легко задать все рамки и содержательные линии диссертации, но я тогда уже внутренне пытался противостоять его научным взглядам - они казались мне чуть плоскоматериалистическими, слишком физикалистскими; я чувствовал: "Ему все ясно; нет, - что-то сопротивлялось во мне, - это не то..." Однако, никаких людей, отзывающихся на подобные проблемы, я на работе и среди знакомых, причастных к физической науке, не встречал.

В этой ситуации я начал сближаться с Сергеем Казачковым и Павлом Мейксоном. Раньше я учился с ними на одном курсе физфака МГПИ, но до этого времени наши контакты не были активны, - просто мы были в хороших отношениях, не более. А теперь, в конце 1977 - начале 1978 годов, я ясно почувствовал тягу к полю их идей; мне виделось, что они несут в себе какую-то новую для меня культуру, новое мышление, интересные слова и понятия. Это стало прорастывать для меня и некую линию диссертации; я буквально черпал у них аргументы для постоянных научных споров с отцом, подчас довольно жарких. Я приобрел некоторое отношение к классической философии, читал Гегеля, Аристотеля, Платона. Прочел книги по модной тогда нетрадиционной методологии науки: Томас Кун, потом немного Поппер и т.п.

Я вошел в компанию этих людей. Там были многие интересные персонажи; девушки - почти все с психфака МГУ. Мне стало интересно: откуда задавалась мыслительная позиция ребят этого круга? Я узнал, что, так сказать, властителем их дум был Георгий Петрович Щедровицкий. Имеется в виду - фактический властитель, на словах они могли его порой критиковать и не признавать, вечно с ним (про себя и между собой) полемизировать, даже на духовно-нравственном уровне, но это не меняет дела. Я его увидел первый раз лет за пять до того - меня привел на его открытый Семинар Виталик Вартанян, году в семьдесят третьем-семьдесят четвертом; это было в большой аудитории Института Педагогической психологии; я почти ничего не помнил, только осталась в памяти картина, как какой-то полный молодой человек произносил нечто очень быстро, причем каждое третье слово было "рефлексия".

Хорошо помню один эпизод конца 78 года. Мы тогда с Павлом Мейксоном посещали серию заседаний Четвергового семинара, в институте пед. психологии. На одном из

семинаров доклад делал Тюков. За столом президиума, на сцене, сидели Щедровицкий и Давыдов. В первом ряду в зале сидел Ильясов. По ходу доклада я спросил Пашу: "Можно ли заметить, в порядке обсуждения, что в докладе не выдерживается принцип самотождественности субъекта?" Он посмотрел на меня и аккуратно, но проникновенно ответил: "Да нет, не стоит. Тут, понимаешь, другая терминология". Как раз здесь ГП прервал Тюкова и стал говорить, что так понимать деятельность нельзя. Давыдов спросил: "Чем же тогда, Георгий Петрович, это у вас отличается от абсолютного "Я" Фихте?" Завязалась дискуссия, в которую темпераментно вступил Ильясов. Он заявил, что в чем-то не согласен с ГП по содержанию, а касательно хода обсуждения хочет заметить, что здесь все время меняются интерпретации понятий, а потому мы не можем оценить то или иное рассуждение спорящих. На это Щедровицкий сказал: "Эта проблема действительно есть, но она, Ислам Имранович, очень просто решается. В этой комнате я задаю замыкающие интерпретации. Конечно, в принципе это может делать всякий, в том числе и вы, но тогда - пожалуйста, в другой комнате".

После Семинара народ в фойе долго не расходился. К какому-то методологу подошла одна дева: огромные, недвижные, холодные очи, распущенные белые волосы, стальной полушея - "Дайте мне текст Генисаретского" Я тотчас увидел картину, как в начале века такие девы приходили к Савинкову и говорили "дайте мне браунинг".

Тогда у меня дома возникло нечто вроде еженедельного Семинара, относительно регулярного. Мы философировали, варили глинтвейн, пели под гитару. Некоторые юноши все пытались через методологию проблематизировать психологию. В том духе, скажем, что у психологии не построен научный предмет. Дамы, со своей стороны, считали нас чрезмерно "методологизированными"; меня иногда, шутливо, ставили в пример - как человека "более близкого к жизни". Я с удовольствием принимал эту роль. Уже тогда во мне поселилось двойственное чувство - с одной стороны, эти ребята знают что-то интересное, продвигающее; критика "натурализма" не могла не импонировать (нет никакой природы "самой по себе", нельзя принимать примитивные категории "субъекта" и "объекта", да и вообще - "что такое "объективно"!?", и т.п.) С другой стороны, ощущалось, что подобные внутренние установки наносят некий ущерб "просто жизни". Я, честно говоря, уже тогда полусознательно, наверное, чувствовал, что это хорошо бы (даже очень желательно, необходимо) "пройти", проработать, но - это не вся жизнь. Дамы, повторяю, пытались чуть ли не в принципе возвести соответствующую критику. В развитие и поддержку этого женско-жизненного начала я, помню, даже устроил праздник Сожжения Рефлексии и сочинил песню, под окуджавскую мелодию: "Тихо, и грустно, и веет родным, // тени ложатся косые... // Над Юго-Западом стелится дым, // это сожгли Рефлексию.// Над мимолетностью майи скорбя, // встав над витальной привычкой, // Деятельность оглянулась в себя // и потянулась за спичкой..."

Го. Юркевич. ЦСКА (1980-82)

В ноябре 1980 года я начал активно играть в Го. В сентябре 1982 года случилось важное событие. Приехала большая японская группа, и была организована встреча с ними, во Дворце тяжелой атлетики ЦСКА. Там я сыграл в сеансе с профессионалом шестого дана, Иноэу Шусаку, на форе, и выиграл у него. Он присвоил мне первый любительский дан, - у такого профессионала было на это право. И, очень важно, что на той встрече я впервые увидел Александра Михайловича Юркевича - он был заместителем начальника ЦСКА, экс-чемпион мира по классической борьбе. Потом я узнал, что Юркевич посещал Методологический кружок, временами, был лично знаком с ГП, Розиным, Дубровским, Н.Г. и И.С.Алексеевыми и другими. Он тогда заинтересовался Го, - как я позже узнал, его отчасти на это склонил Николай Цзен, - и он немало помогал тогда "гошникам", пользуясь своим, весьма высоким в спорте, служебным положением.

С осени 1982 года у меня стало развиваться общение с Юркевичем. Он меня ввел в свой кружок, или в "Кружок ЦСКА". В кружке жили самые разные ориентации. Жил отчасти дух методологии, какой-то компонент эзотеризма (но прямо об этом Юркевич говорить не любил), были и ребята-психотехники. У меня до сих пор живо потрясающее впечатление от одной длинной речи Юркевича, по "Алкестиаде" Еврипида/Уайлдера, когда он пытался намекнуть на пять функций Аполлона.

В мае 1983 года произошло событие гибели Коли Цзена. Об этом уже рассказывал Юркевич, в своих воспоминаниях; может быть, когда-то это будет опубликовано.

ЦСКА. Щедровицкий (1983-85)

Осенью и зимой 1983-84 года продолжались встречи в кружке ЦСКА. Общая примерная тема заседаний была "Игра". В январе я по-доброму познакомился с Игорем Серафимовичем Алексеевым. В феврале был доклад Вадима Розина. Я в это время активно прорабатывал ряд основополагающих статей Московского методологического кружка (например, статью ГП и Никиты Алексеева "Мышление как деятельность"). Также где-то в феврале был мой доклад про игру, на который пришел Георгий Петрович, вместе с Сазоновым и Светой Поливановой.

Доклад был объемен, упомяну его некоторые положения. Игра, с одной стороны, характеризовалась как всеобщая универсалия культуры; с другой стороны, было отмечено, что какой-либо общей теории игры не имеется. Единственная возможная исходная точка для построения соответствующего предмета философского исследования полагалась мною как некая "*обыденная интуиция игры*" (что такое игра? - ответить сложно, существующие частные варианты ответов неполны или неудовлетворительны, но тем не менее людям понятно, о чем идет речь). Потом проводилась редукция, в духе гуссерлевской феноменологии, этой обыденной интуиции игры, после чего был выдвинут центральный тезис: что игра не необходима по отношению к любому виду или системе деятельности. Попросту - игра это не деятельность; хотя, при этом, игра принадлежит жизни человека. Далее игра характеризовалась как некая сущность, принадлежащая универсальности человека, как нечто более глубокое и всеобщее, чем любая деятельность, и что в ментальном плане она соотносится не с теми или иными знаниями, но уже с мудростью. Потом возникло обращение к фигуре Сократа, который одним из первых в европейской культуре заявил реалии игры и иронии, и было предположено, что в рамках любой "теории" сущность игры не схватываема, для этого нужна уже "мифологема." Корень игры еще как-то увязывался с морально-нравственным началом человека и мира, эпиграф же доклада был цитатой из платоновского "Пира" - "Суть же беседы состояла в том, что Сократ вынудил их признать, что один и тот же человек должен уметь сочинить и комедию, и трагедию, и что искусный трагический поэт является и поэтом комическим. Оба собеседника по необходимости признали это, уже не очень следя за его рассуждениями: их клонило ко сну".

Я вспоминаю, что, во-первых, Юркевич был очень рад докладу и присутствию на нем Георгия Петровича (Юркевич временами прямо-таки радостно потирал руки); во-вторых, с моей стороны, в докладе было что-то от косвенного вызова системно-деятельностной онтологии Щедровицкого, эдакий метафизический задор и априорная готовность "нарваться". Однако Щедровицкий откомментировал все очень тепло и приветливо. Света мне потом поведала, - впрочем, Щедровицкий тоже как-то упоминал, - что она ему сказала: "Вот человек идет каким-то своим путем. Не надо его поглощать методологией, включать в методологический кружок". Впрочем, когда это Георгий Петрович слушался женщин? (Да и вообще, кого бы то ни было.) Помню, я в где-то в конце дискуссии сказал: "Вот, у нас пару лет был домашний семинар, на такую-то тему, и ничего особенного не получилось". Он заметил: "Пару лет... Вы поработайте пять раз по паре лет, потом еще

пять раз пару лет, и еще раз. Тогда, может быть, найдете трех человек, с кем можно действительно работать".

Третьего марта была моя первая личная, довольно продолжительная встреча с Георгием Петровичем. Мы погуляли в лесочке, около наших домов, в районе Ленинского проспекта и улицы Обручева, а потом дошли до ВЦП (Всесоюзный Центр переводов). Кое-что из той беседы я помню. Зашла речь о философии. - "Толя, я всю жизнь думаю: почему именно в Германии, в стране самой сильной философской традиции, столь развился фашизм?" О Мамардашвили. - "Я уже давно сказал: Мераб идет вперед спиной, т.е. глядя назад, в прошлое". Я спросил еще о некоторых других, знакомых мне и ему, известных наших философах. В ответ: "Толя, они все очень развитые люди. Только ответьте мне всего на один вопрос почему они все так пьют много?" Еще он рассказывал немного о своих родителях, о родственниках. Какой-то его дальний дядя был революционером, в экстремистском крыле эсеров; и у него была потрясающая любовь с одной женщиной, тоже из тех же кругов, редчайшая любовь; потом выяснилось, что женщина предательница, внутренний партийный суд приговорил ее к казни, и расстрелять ее должен был именно этот человек, что он и сделал. Рассказывал о своих контактах с Кашиным, это был директор в институте моего отца, а я там же учился в аспирантуре; знал он и моего теперешнего директора, Атутова. Меня удивила полярность его оценок этих людей. С одной стороны, были очень резкие слова (я их не привожу, люди, либо их родственники, еще живы). С другой: "И вот, это люди, которые не сидят в экологической щели, как философствующие интеллигенты, а несут ответственность, как организаторы жизни". При этом же, о политической ситуации: "Ничего, Толя, я на них напустил уже Игру (имеются в виду так называемые "оргдеятельностные игры"), они у меня теперь все поиграют; посмотрим, что через три года будет!" Поговорил обо мне: "Толя, в вас есть некая талмудистская самостоятельность. У вас есть три пути: либо в философию, либо в педагогику (имеется в виду что-то реальное, типа социальной педагогики Наторпа), либо к нам в методологию. Хотя, о последнем, - я вас не тяну" (как раз тут и напомнил мне о словах Светы Поливановой).

Осенью я стал посещать семинар Щедровицкого, на квартире Светы Поливановой. На семинаре тогда обсуждались, по сути, только игры. То анализируется прошедшая игра, то готовится предстоящая. Я походил, походил, а потом говорю Георгию Петровичу: "Вы знаете, я вам чрезвычайно благодарен за доверие, но, наверное, я приостановлю свое участие. Понимаете, я чувствую себя как наблюдатель ОНН, попавший в штаб палестинских террористов". - "Да ладно, не торопитесь, - ответил он. - Посидите еще, потом какой-нибудь доклад про игру сделаете; и нам, и вам это может быть интересно."

15 ноября 1984 года состоялось своего рода "новооснование" кружка Юркевича. Он это официально продвинул как "Психолого-педагогический Семинар спорта высших достижений". На открытии он торжественно заявил, что все это делается согласно указаниям Главптура Советской Армии (действительно, он подписал где-то такой Приказ, который, кстати, пока никто не отменил). Там был Никита Глебович Алексеев, Юра Громуко, Калина Маркович Корнейчук и еще какие-то люди. Например, я помню одного офицера из Военно-политической Академии, который, - как только началась наша обычная "дискуссия", - совершенно свято перестал понимать, куда он попал. Я в это время начал продумывать тему "обыденности", а также "естественного языка".

В конце 1984-начале 1985 года Ю.Громуко был призван в армию. Юркевич устроил его служить в ЦСКА, где Юра сразу активно включился в работу Кружка.

1985 год

Работа Кружка продолжалась. В марте был мой доклад про обыденность. Я много готовился. Юркевича эта тема очень интересовала. На докладе были Щедровицкий и Никита Алексеев. Дело вышло жарким. Я знал, что понятия "обывателя", "просто

"человека", "просто жизни", "вообще интеллигента" и тому подобные - для Щедровицкого нетерпимы. А я - то имплицитно, то почти явно - самоопределялся в этой позиции. Случилось ожидаемое, он начал бушевать. Я процитировал, помню, платоновского Сократа, что-то насчет "просто человека и мудрости". Назревал взрыв, и он произошел на примиряющей попытке Алексеева, когда тот начал всех, и в первую очередь Щедровицкого, успокаивать: "Ну ладно, Георгий, люди в жизни идут разными синкретическими путями..." - "Да нет, же, Кит!! (т.е. Никита) - буквально прокричал Щедровицкий. - Где эти мудрецы, где они?! Ты их видел?! Это же все вранье! Или от нас требуется сейчас Анатолия Аркадьевича признать мудрецом?!" И так далее. Учитель умел срывать доклады, этого не отнимешь. Я "отходил" денек, а потом ему позвонил и сказал: "Георгий Петрович, прошу меня извинить, я в дискуссии употреблял не вполне корректные выражения". - "Да ладно, Толя, - ответил он. - Об этом вообще не говорят. Приезжайте ко мне, погуляем." Я приехал.

В квартире висела интересная картина, немного в духе экспрессионизма: изображены обнаженные мужчина и женщина, по композиции как Адам и Ева в раю, и мужчина этот, очень мускулистый, держит в напряженной правой руке большой гаечный ключ. "Подождите, - сказал Георгий Петрович, - я сейчас оденусь". Он снимает домашние брюки, остается в кальсонах, и затем надевает другие брюки. Тут вошла его жена, Галина Алексеевна, и сказала: "Ну да, гениям все можно..."

Мы пошли гулять. Вот темы беседы:

"Приходите, Толя, к нам в кружок. При этом вполне необходимо, чтобы вы сохраняли свою самобытность".

"Надо читать "Немецкую идеологию" Маркса и "Кто такие друзья народа..." Ленина, а также Маккиавелли".

"Мы, методологи, предвосхитили Лакатоса и Куна".

"Есть разница между культуртрегером и культурмахером. Генисаретский, к примеру, - культурмахер, он творит культуру из ничего."

Рассказал историю про Грушина и Кагановича (пока что я не буду ее здесь пересказывать).

"В жизни и системах деятельности есть очень важная функция - умный еврей при губернаторе."

Вступать ли в партию? (мой вопрос ему) "Понимаете, Толя, это у каждого по-разному. Генисаретский мне до сих пор простить не может, что я его как бы склонил. А вот Сazonov - и до сих пор не хочет, и вполне хорошо живет. В общем, предложат - идите".

Методология (1985-86)

Это было и время начала довольно активного общения с Юрий Громыко. Летом я тщательно прорабатывал Коллингвуда, "Идею истории". По-новому пытался понимать теорию деятельности и методологию, последнюю - как форму осмыслиения всякого опыта. Писал в дневнике нечто вроде следующего: "Методология - мышление, ставшее деятельностью. Точнее, она задает такую возможность, когда мышление здесь и сейчас может осуществляться как реальность и деятельность. Полнота и духовность мышления обретаются им ныне не в сферах науки или философии, но в методологии."

В первой же половине августа я посетил, вместе с Щедровицким, три доклада Буркина, про "принцип непараллелизма формы и содержания". Буркин тогда развивал идеи, во многом собственные, о "зонировании и трассировании в мыследеятельности". Участие в данных докладах было неким следующим шагом моего сближения с Щедровицким.

19 августа я посетил его, для подробного разговора, на даче в Большево. Основная тема разговора состояла в его предложении ко мне - принять участие в сравнительно долгосрочном семинаре, важном для него. Предполагаемый круг тем: смысл и значение;

логика и онтология; "Аналитики" и "Топика" Аристотеля; Платон; Витгенштейн и английская аналитическая философия, как философия языка. Также он говорил о смысле и жизненных целях методологии, о методологии и России, о служении Кнекта ("Рыцарь игры" у Гессе). В заключение дал мне книгу Дегутиса об английской аналитической философии языка, для входа в библиографию и определения собственных тематизмов. Срок выполнения задания - неделя.

Тогда же произошел следующий случай, который моя жена, Марина, считает до сих пор самым значительным (в плане моих отношений с Щедровицким). Мы с женой были вдвоем дома, и я решил приготовить на ужин омлет. Итак, омлет готов, жена сидит на кухне, я подаю омлет на стол и начинаю на сковородке разрезать. При этом я, вроде как, о чем-то про себя думаю, то есть веду себя несколько "отсутствующим образом". Тут меня Марина спрашивает: "А почему ты режешь на *три* части?" ... Я пришел в себя... Мы расхохотались. (Конечно, она поняла, что я мысленно делил: "Это - ей, это - мне, а это - Георгию Петровичу". Так оно и было.)

Семинар начался осенью, на квартире у Светы Поливановой. Семинар был заявлен как "внутренний" (Борис Юдин мне потом сказал: "Ага, святая святых"). Было впечатление, что Георгий Петрович решительно намерен внести философскую и общекультурную линию в сообщество игротехников - сравнительно молодых по возрасту, но уже заматерелых в играх.

У нас сформировался, помимо основного семинара, небольшой кружок: Буркин, Громыко и я, иногда там появлялся Володя Головняк. Мы провели несколько раундов дома у Буркина, каждый чуть не по 10-12 часов интенсивнейшей словесно-мыслительной работы. Они пытались меня методологически "пробить", - если не сказать "сломать". Я держался, как мог; вроде, продержался. Про какой-то такой день в дневнике записано: "Прорезь мозга. Зашевелились мысли". Громыко зафиксировал, что мы с Буркиным - позиционные антиподы. Это, разумеется, не мешало нашим вполне дружественным отношениям. Помню несколько высказываний Буркина: "Понимаете, ГП - мастер. Но кто он? Он работает с людьми по методу Гурджиева: раз обласкает, потом раз врежет, и это работает. Я, наверное, скоро умру. А к вам, Анатолий Аркадьевич, может быть, когда-то придет мастерство." Я ему говорю: "О чём вы, Юрий Владимирович? Почему "умру"? И что за мастерство?" Вообще-то, у меня то и дело возникало чувство, что эти люди очень великолушны; что я им? что я могу? ведь я нигде не специалист, а они меня так хорошо и почему-то серьезно принимают. И к этому добавлялось другое чувство - что эти люди чем-то серьезно ущербны, но, конечно, не по отношению ко мне, а по отношению к чему-то другому. Ну и что? - это совершенно не проясняло мой первый вопрос: "почему они меня при себе держат?"

Всю осень я старательно изучал "Топику" Аристотеля, аналитическую философию (сделал о ней доклад), Ницше и Шопенгауэра; порой возникал иронический аккомпанемент Учителя "насчет философии жизни". Не любил он этого... В декабре я принял участие в оргдеятельностной игре в Губкинском институте; мы там образовали группу с Леной Моховой (очень хорошенёкая женщина). Георгий Петрович пару раз потом на семинаре увязал "философию жизни" и "жизнедеятельностный подход" - с подобными штучками. Разумеется, с теплым юмором старого повесы.

Тридцатого декабря мы с Юркевичем и Генисаретским посетили Александра Кожу (он уже много лет православный священник; занимал серьезные должности в ОВЦС РПЦ). Генисаретский сказал несколько интересных вещей (хотя по большей части дремал). Например: "Все люди,двигающиеся в методологии, ломаются на одном - когда начинают выходить на проблематику ценностей".

В январе-феврале я сделал два доклада об аналитической философии и Людвиге Витгенштейне, под названием "Может ли и должна ли аналитическая философия быть философией?" Не все получилось очень здорово, но мне удалось с интересом, по крайней мере для себя, рассказать биографию Витгенштейна. Здесь, на обсуждении, возник

любопытный момент. Георгий Петрович предъявил мне принципиальный вопрос: почему это я не задаю, с одной стороны, ситуацию

Витгенштейна, а с другой - свою, то есть почему я как будто отождествляюсь с ситуацией Витгенштейна. Мне же это казалось самоочевидным, для вживания в биографию обсуждаемого лица. Мы походили вокруг да около, после чего Щедровицкий заявил: "И почему это вы, Толя, - вместо того, чтобы заявить: вот Витгенштейн, у него своя ситуация, такая-то, а у меня своя, причем совершенно иная, - почему вместо выполнения этого очевиднейшего логического требования, вы вдруг отождествили себя с Людвигом Витгенштейном?!" Я ему говорю: "Понимаете, если я так резко это разведу (у него своя ситуация, а у меня своя, и они совершенно различны), то мне с ним будет нечего делить". На что Учитель твердо заметил: "Но, обратите внимание, Людвиг Витгенштейн давно умер, и если вы попытаетесь с ним что-нибудь делить, то у вас ровно ничего не получится". М-да, скажу я сейчас, проблемы биографической работы...

Помню, в марте, на семинаре, он сказал, кажется Сережу Наумову: "Методолог есть вольный флибустьер! Свободный кот!"

На другом заседании кто-то высказал одну мысль, которая показалась мне неверной, но Щедровицкий стал ее активно поддерживать (не помню, в чем она заключалась, неважно). Я ему сказал: "Георгий Петрович, не будем спорить о содержании этой идеи, но одно ясно - если она неверна, то она не сможет получить социального воплощения, ее не акцептирует научно-философское сообщество и она не войдет в культуру." На что он твердо сказал: "А вот как раз здесь вы глубоко заблуждаетесь. Может, ваша критика по содержанию и оправданна. А насчет сообщества и культуры... - всегда найдется достаточное число людей, которые обосновывают и акцептируют любую идею, лишь бы их освободили от физических работ на открытом воздухе в осенне-зимний период."

Я тогда пару раз посетил МГУ, лекции Дорохотова, что-то о Декарте и Хайдеггер. Потом ехали с Щедровицким в автобусе, я ему говорю: "Вот, был на лекциях Дорохотова о Хайдегgerе. Много интересных людей, большинство - молодые девушки. Слушают очень внимательно". Он помолчал. Тут я несколько резко спросил: "Георгий Петрович, ну скажите, есть в этом все же какой-то смысл, или нет?" Он вскинулся: "Есть, Толя, есть! Вот девки послушают про Хайдеггера, а потом трахаться лучше будут. Видите, как раз и ваша философия жизни работает".

Двенадцатого апреля у меня была с ним встреча. Он заявил: "Вы должны, Толя, принять ученичество сроком на шесть лет. Задача - историко-критическая работа в философии. Основные темы - Людвиг Витгенштайн-2 (то есть позднего периода) и Гуссерль. Перспектива - две книги".

Примерно в это же время был случай, он на меня произвел впечатление. Дело было на открытом семинаре в Губкинском институте. Георгий Петрович делал доклад, а потом, во время дискуссии, один молодой человек стал с ним о чем-то спорить, прямо бодаться. Например, он попытался поймать Георгия Петровича якобы в дилемму "основного вопроса философии", - "Позвольте! - воскликнул он. - Тогда ответьте, что для вас первично?" Щедровицкий устало на него посмотрел: "Вас интересует, когда я родился? Я могу назвать место и приблизительное время". И тому подобное. После доклада мы вместе выходили из аудитории. Я начал какой-то вопрос: "Георгий Петрович, а вот..." Он меня прервал словами: "Толя, пойдемте сходим в туалет". Ну, разумеется, пошли. Вид у него был малость замученный. Я ему сказал: "Георгий Петрович, чего вы так реагировали, ну какой-то там юноша, ну пошумел". А мы стоим у соответствующих снарядов, и тут он отвлекся от естественного процесса, повернулся ко мне и очень выразительно произнес: "Понимаете, Толя, надо же все время держать марку!"

Для меня тогда стали все более и более сильно различаться ощущения от методологии (как "системы", "этоса", "эгрегора" - ?) и от Георгия Петровича. Коротко говоря, он мне становился все более дорог и интересен, а методология - все менее. Хотя, конечно, - что такое методология? Может быть, методология - это то, как люди культивировали его

мысли? Он мне все больше виделся в своей жизненной мягкости, незащищенности; методология же выступала все в более и более жестких качествах. Иногда становилось неприятно. Например, на одном из семинаров он говорит: "А наши ребята - молодцы. Взяли вдвоем Хасана, как волки оленя с двух сторон." Бр-р-р... Ко мне залетали мысли: "Боже мой, а сам-то он - всегда ли может совладать с этим своим детищем, с методологией?" Я прочитал тогда роман Оруэлла "1984". И в одном месте меня прошиб вдруг ужас: это когда Уинстон говорит своему мучителю из Минлюба: "Но вот звезды на небесах - с ними вы ничего не можете сделать! Здесь предел воле и силе Партии", а тот ему отвечает: "Звезды?! Да мне смешон ваш аргумент. Это ведь не более чем выдумка и онтологизация, проделанная какой-то группкой астрономов. Как решит Партия и ГБ поступать с астрономами, - так, в результате, будет и со звездами" (цитирую по памяти и неточно, но смысл помню).

Весной я вышел на линию с биографией Николая Ефремовича Скворцова. Это началось со ссылки из словарной статьи Владимира Соловьева о Платоне, в Брокгауз-Ефроне. Я обнаружил, что Скворцов, который был во второй половине XIX века значительным педагогом и философом, оказался совершенно забыт, что его имени нет ни в каких педагогических словарях и учебниках последних десятилетий; то есть деятель культуры эмпирически исчез из культуры. Весну-лето я раскалывал материалы о нем и написал статью в Педагогическую энциклопедию и в журнал "Советская педагогика". Историки педагогики, например старик Равкин, признали это своего рода интересной находкой, я получил хорошие рецензии. Опишу кратко беседу с Равкиным. "А ведь я вспомнил, что был такой педагог; но вы правы, уже давно совершенно забыт. Это хорошо, что вы его раскопали. Я прочитал вашу работу и готов дать вам самые положительные рецензии. Но. Вы нигде не определили его классовую принадлежность." Я ему: "Захар Ильич, понимаете, Скворцов, по своим взглядам, как бы сказать..., не принадлежал к пролетарско-революционным направлениям." Равкин: "А ведь я это понял! Понял! Но вы напишите: "либерально-буржуазный". Это можно. Можно! Конечно, "либерально-демократический" - лучше. "Революционно-демократический" - много лучше! Но "либерально-буржуазный" - это тоже допустимо, молодой человек. Допустимо! Поверьте мне, у меня большой опыт. Я владею методом. А работа прекрасная, я вам подпишу". Ну, да ладно.

У Скворцова я прочел мысль, ставшую для меня совершенно принципиальной, в чем-то поворотной, - а именно, что начала древнегреческой философии и философского мышления лежат, может быть, в древних мистериях Египта. Внутри меня что-то восклинуло: "Ну вот! Значит, мышление не есть нечто первичное и окончательное. Что-то было перед ним и что-то скрыто за ним." Мне показалось, что я нашел связь между ощущаемым мною эзотеризмом Юркевича и вообще эзотеризмом, с одной стороны, - и всем мыслительным планом, который есть в философии и методологии, с другой стороны.

Примерно так прошли лето и осень. Евгений Ращковский, с которым я закончил через Скворцова, как-то пригласил меня на семинар Баткина, в институт истории. Я потом позвонил с каким-то кратким вопросом Баткину, отрекомендовался. Он меня, по голосу, воспринял очень тепло: "А, внучатый племянник Леонида Пинского!.. Очень хорошо!" Потом спросил: "А откуда вы сами, из каких кругов?" Я говорю, что из семинара Щедровицкого. Краткая пауза. Потом: "Ну, у нас есть староста семинара, она вам позовет". Никто мне не звонил.

Я продолжал посещать семинар. Но подспудно нарастало расхождение. 18 ноября я должен был делать доклад, по теме "Интерпретация". Я попытался построить доклад на базе одного античного мифа, даже цветные иллюстрации одного художника-возрожденца принес. Я так готовил этот доклад, что внутренне был готов к разрыву, понимал, что этот стиль может оказаться непроходным. Так и получилось.

Георгий Петрович совершил показательный "демарш", поплясал на моих костях, прервал доклад, я пошел на кухню пить чай. Они в комнате продолжали о чем-то

толковать между собой. Потом пришла Света Поливанова и попыталась как-то меня утешить. Пришла на кухню Гая Харитонова, тоже попить чаю. Но мне было все ясно. Я пришел домой и записал: *Я (кажется) вышел из этих игр, слава Богу. ГП повел себя как та "сила, которая стремится ко злу, но обречена творить добро".* На следующее заседание семинара я не пришел.

В качестве заключения

Целью этих воспоминаний о Щедровицком было дать какой-то небольшой материал о нем как о человеке. Сейчас я вижу, насколько мало она достигнута. Но входя время от времени в пространство этих воспоминаний, начинаешь извлекать некоторые предельно важные уроки.

Сегодня мне представляются не столь важными идеи и тексты Г.П. К примеру, я засел за отдельные статьи из толстого тома избранных трудов, вспомнил, с каким углублением я вчитывался 15 лет назад в каждую фразу этих статей в библиотеке... И что сегодня? - почти ничего. Будут ли люди вчитываться в эти тексты, вымывать из них скрытые крупицы глубоких смыслов? Сомнительно. Учитель рисовал на доске большой прямоугольник, потом чертил в нем пару человечков и проводил пару стрелок; сейчас эти схемы опубликованы типографским способом. С соответствующими теоретическими контекстами и параграфами. Сможет ли кто-то воссоздать хоть тысячную часть того Смысла, который возник в комнате, когда рисовалась Схема? Ну конечно же нет. Итак, остается ли человек (не его мысли, скажем, а сам человек) в своих делах, в пресловутых продуктах и результатах своей деятельности? Урок Щедровицкого с очевидностью показывает, что нет, не остается.

Иногда он горячо пытался своими теориями и словами доказать противоположное. Но он *сам* - не тем, повторяю, что он делал и говорил, но тем, чем он *был* (или *есть* - ?) убедительно мне показал обратное. Я вспоминаю его похороны, в Донском монастыре. Разные уважаемые люди говорили разные слова. Сказал ли кто-то, хоть нечто настоящее о нем, хоть отчасти отвечающее реальной ситуации, которая вдруг необратимо возникла после его ухода? Нет. Но я видел, как плакал Генисаретский. Я тогда почувствовал, что либо мы еще не умеем говорить нужные слова, либо это вообще не дано человеку.

Послушайте, много ли мы можем сказать о нем? Да, судьба дала нам возможность общаться с ним, учиться у него, спорить с ним и даже бодаться. Тот, кто общался с ним, имеет правомерную роскошь сказать: да, теперь я несколько понимаю, что имеют в виду, когда говорят - вот, такой-то человек составил эпоху. Это правильно, но опять же недостаточно.

Можно ли его назвать технократом? Конечно! Я помню, с каким пафосом он рассказывал мне о своей старой, 60-х годов, известинской статье, с программным (и чудовищным) названием "Технология мышления". Мы помним его "мегамашины мыследеятельности" и т.п. Можно ли его считать предельным антропоцентристом? Безусловно, да. Как-то он мне говорит: "Толя, чего вы все пытаетесь найти какой-то псевдообъективный смысл в этой аналитической философии? Все пытаетесь объективировать ее какое-то культурное содержание и значение, - как там, мол, было по существу. Я вам скажу: ничего там не было особенного, как, впрочем, и везде. Было скучно. И со всеми вашими сферами точно так же; скучно там, и все. А вот появился Витгенштейн, и стало не так скучно. А потом снова будет скучно. И иначе не бывает." Другой пример: я его спрашиваю - "Георгий Петрович, вы монист или плюралист?" Он отвечает: "Мне иногда задают этот вопрос. Я на него отвечаю по-разному в разных ситуациях. Так что, решайте теперь сами."

Как-то мне приснился сон. Пришли мы с ГП глубокой ночью в какую-то гостиницу, очень усталые; надо ложиться спать. И тут я ему, безо всякого повода, говорю: "Георгий Петрович, вы меня, ради Бога, простите, но я осмелюсь задать вам один вопрос. Вы мне

как отец родной, но скажите - почему вы так строите отношения с женщинами?" Он говорит: "Толя, сколько сейчас времени?" Ну, я смотрю на часы и говорю: "Очень поздно, час ночи". - "А когда завтра вставать?" - "Георгий Петрович, завтра рано, дела, примерно в пол-седьмого". - "Ну вот, Толя, видите как жизнь устроена, - до часу ночи работаешь, в шесть утра снова начинаешь... Так, послушайте, велика ли разница, где человек переночует?"

Вскоре после этого сна, мы ехали с ним и с Матвеем Соломоновичем Хромченко в такси. И я рассказал ему этот сон. Он на меня посмотрел, несколько строго, и говорит: "Толя, я вам отвечу по этому поводу как Блок - а именно, в жизни всяко бывает, но люблю я только свою жену." Мне стало чуть неловко, я говорю: "Ну конечно, Георгий Петрович, конечно же". Он помолчал, а потом добавил: "Но сон хороший. Вы его запомните". Я запомнил.

Postscriptum

Они любили друг друга так долго и нежно,
с тоской глубокой и страстью безумно-мятежной.
Но как враги избегали признанья и встречи,
и были пусты и кратки их хладные речи.
Они расстались в глубоком и скорбном молчании,
и милый образ во сне лишил порою видали.
И смерть пришла, наступило за гробом свиданье.
Но в мире новом друг друга они не узнали.
М.Ю.Лермонтов

Перед тем, как вознамериться отдать эти воспоминания к опубликованию, я попросил их прочесть нескольких уважаемых мною людей (одновременно близких к методологии и герою воспоминаний). И вот, один человек сделал замечание, к которому я счел необходимым отнести. А именно, в тексте несколько раз употребляется слово "учитель"; в каком смысле понимается это лично автором?

Вопрос одновременно очень простой, на который можно дать простой же ответ, и очень нетривиальный, ведущий нас все глубже во все духовные, личностные и жизненные контексты, очерченные выше. Автор этих строк может сказать коротко: "Я считаю ГП своим учителем" (или "хотел бы считать...", или "внутренне надеюсь, что мог бы считать себя его учеником..." и т.п., - с разным градусом политеса). И это правда. Но - не вся правда. У меня в сердце даже возникла фраза, навеянная стилистикой Цветаевой: "Щедровицкий - это наше всё". И это тоже правда, но тоже не вся. Есть и нечто другое, эту правду дополняющее, а иногда, вроде бы, ей и противоречащее. Что? Вот это уже не просто. Попробую кое-что вспомнить и выразить.

Как-то раз я должен был делать доклад на "внутреннем семинаре". За пару дней до того мне позвонил Щедровицкий и сказал: "Толя, я должен срочно отъехать, так что меня на семинаре не будет. Заседание проведет либо Петр, либо Громыко. Я, разумеется, потом буду внимательно слушать пленку". Ну, насчет прослушивания пленки я не строил иллюзий, но доклад, конечно, сделал. Однако, признаюсь прямо, и сама атмосфера доклада, и его обсуждение мне были как-то не особо интересны. Потом меня ГП спрашивает: "Ну, как прошло ваше сообщение?" Я отвечаю: "Да, признаюсь, никак. Я чувствовал, что никак не могу уловить смысла - а зачем все это?" Учитель говорит: "Хм... Такое ваше настроение было прямо связано с моим отсутствием?" - "Конечно." - "А вы попробуйте это объективировать, в мыследеяностном плане. Чего вам по сути недоставало?" - "Понимаете, - отвечаю я ему, - в комнате не было никакой внутренней оргструктуры; а также - никакой смысловой структуры. Примерно так. Не знаю, правда, насколько вас устраивает такая объективация." - "Вполне устраивает. Я делаю вывод, что

вы, как докладчик, не смогли произвести тематический смысл, а Петр, как ведущий, не смог ситуацию организовать". Я в ответ: "Георгий Петрович, я несколько не о том. Во-первых, тематические смыслы я могу успешно производить у себя дома или в Библиотеке им. Ленина. Во-вторых, Петр тут тоже не при чем; он все хорошо вел, задавал содержательные вопросы и так далее." - "Послушайте, а чего вам тогда надо? Вы порождаете смыслы, Петр организовывает коммуникацию. Чего вам надо? Только, пожалуйста, не говорите, что вы домогаетесь моей любви".

(А пропрос. - Все это было примерно в пору моих докладов о Витгенштейне. На одном из них Георгий Петрович произнес запомнившуюся мне фразу: "Толя, а ведь я вас последовательно ненавижу. И поэтому буду последовательно уничтожать. Но вы не смущайтесь, я ведь могу любить только тех, кого ненавижу". Я ему говорю: "Ну конечно, я все это прекрасно знаю.")

Но вернемся к разговору. Я отвечаю: "Георгий Петрович, как писала Ахмадуллина, - *ни слова о любви!* Давайте останемся в плоскости смыслов и значений." - "Вот-вот, давайте останемся." - "Понимаете, Георгий Петрович, мне надо, по складу натуры вероятно, чтобы расхристанская коммуникация, в которой все находится в движении, в поиске и в дискуссии, в которой все смыслы и значения на ходу строятся, размываются, плывут, - чтобы такая коммуникация все же имела некую инстанцию, могущую эти смыслы порой кристаллизовать, отфиксировать. И то, что я только вас лично вижу в качестве такой инстанции, это совершенно не повод критиковать Петра как ведущего." Он говорит: "Чего-чего? Это что, из области "на чем сердце успокоится"?" - "Ну да, конечно. Но - ведь так люди живут. А кроме того - мы же ваши ученики." Тут глаза его засверкали. "Послушайте, Толя, я примерно знаю, как люди живут, но, обратите внимание, меня это мало интересует. Это вас интересует, с вашим жизнедеятельностным подходом. Может быть, еще кого-то, ну например..." Я его перебил: "Ну давайте без имен, Георгий Петрович." - "Вот-вот! Сейчас вы мне начнете говорить какую-то интеллигентскую ахинею, вроде того, что здесь затрагивается честь женщины или что-то, в любом случае, в этом же духе. (Я подумал: "Вот, наверное, что имел в виду Гете, когда писал строку "Лишь в седле я хоть чего-то стою") Но меня, Толя, все это мало интересует! А вы вот лучше ответьте на вопрос: а для меня, для ГП, кто выступает в роли этой вашей "смыслокристаллизующей инстанции"? Кто?" - "Ну понятно, - говорю я. - Никто. Вы сами." - "Ага, кое-что поняли? И в этой связи задумайтесь, что это тогда означает: быть моим учеником?"

Я думаю, он сам все сказал. И если еще немного додумать саму суть того импульса, который он нес (не "букву учения", не форму исторической традиции, в которую этот импульс облекался), то можно ощутить, с какой логической и экзистенциальной неизбежностью, все снова и снова, в его судьбе возникал элемент поистине высокого трагизма. В том числе, а может быть и в первую очередь, по поводу его учеников. Своим человеческим началом он надеялся, и с полным правом, на их преданность и вечную приверженность - по крайней мере, тому делу, с которым он идентифицировался. Но содержанием своего духовного импульса он вел людей к индивидуальной свободе, в том числе выводя (охотно верю, что зачастую сам того не желая) и за все партийные и орденские рамки "дела".

Процесс индивидуации, сказал бы Юнг, начинается в коллективе, но потом наступает пора, когда он может продолжаться только при условии выхода из коллектива. Логический этот парадокс зачастую дает о себе знать в жизненно тяжелых формах. Причем, с обеих сторон. Иногда это принимало даже формы фарса. Например, я знал одного методолога, который, уйдя от ГП, стал заявлять что в ГП есть "Teufel Weib" ("частица черта" - прямо по оперетте "Сильва"; может быть, и даже скорее всего, так оно и есть - ибо, как сказано, кто без этой "Weib", тот может бросить камень); однако молодой человек к этому замыслил акцию обливания ГП водой, освещенной в РПЦ. Однако шутки в сторону. Парадокс - логический, духовный, смысловой, человеческий - существовал и

существует. Но - и это, может быть, самое важное, что я хотел бы сказать по всей теме - "логос", "смысл", "дух", "человек" суть слова мужского рода. И в их пространстве нечего ловить. Там этот тяжелейший парадокс не может найти никакого разрешения. Там остаются свободные люди, и эта свобода оказывается всегда высокой и иногда жестокой. Например. Среди главных правил средневековых розенкрейцеров было два следующих: во-первых, розенкрейцер носит одежду того города, в котором живет; во-вторых, он должен хранить тайну сто лет. Возникает серьезный вопрос - а как они могли тогда узнавать друг друга ? Один сведущий человек, в ответ на этот вопрос, сказал: "Только по взгляду. Например, едет князь-розенкрейцер верхом по площади и замечает в толпе: вон, у того торговца особый взгляд. И все. Едет дальше."

Кажется, что это - предел. Я уверен, что Щедровицкий все это ведал очень хорошо. На своем наиболее выраженному духовном пласте, наиболее близком к восприятию другими и к саморефлексии, он был в высшей степени мужчиной - титаном, патриархом, вождем и т.п. Однажды он мне сказал: "Все эти гении науки классического типа - что Гуссерль, что Грушин - они все одиночки. Для меня же принципиальным является вопрос коллективной мыследеятельности и коммуникации. И я во многом это реализовал. Я спокоен. Я знаю - есть Генисаретский, есть Лефевр, есть Розин, Сазонов и Тюков, - и я, повторяю, спокоен". Я его спрашиваю, на подобающем сленге: "И это ваша предельная рамка?" Он хитро улыбнулся и забурчал: "Предельная..., предельная... Для меня, Толя, нет ничего предельней личной свободы."

Вроде, можно ставить точку. И тогда это был бы конец, чем-то похожий на тупик. Мне, однако, видится еще одна перспектива. Эту дополнительную надежду и перспективу дать могут только слова и реалии женского рода - "жизнь", "мудрость", "любовь". И это начало тоже было в Щедровицком, бесспорно. Тот же Юнг, подводя итог своей жизни, написал: "Мне кажется, что conditionalis (сослагательное наклонение) Павла "если бы не было Любви" содержит все познание... "Любовь не иссякнет никогда", даже если человек "глаголет языком ангелов" или с научной тщательностью прослеживает до самого последнего уровня жизнь клетки. Он может наделить любовь всеми именами, какие только имеются в его распоряжении, но в результате все равно должен будет смириться лишь с бесконечным самообманом."

Так что мне не удалось выдержать императив Ахмадуллиной, и пока что я больше ничего не могу ответить на вопрос, правомерно поставленный выше.